

Алексей Тарновицкий



ПОСЛЕ
ОТПЕЛИ

СТАНЦУЕМ, КРАСИВАЯ?

Я прочла ее на одном дыхании. Эта такая плотная сочная проза!!
Читайте эту книгу — наслаждение!

Екатерина Вильмонт

Алексей Владимирович Тарновицкий
Станцуем, красивая? (Один
день Анны Денисовны)

Издательский текст

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6715558

Станцуем, красивая? (Один день Анны Денисовны): АСТ; М.; 2014

ISBN 978-5-17-084061-8

Аннотация

Ленинград конца 70-х. Анна Соболева – очаровательная молодая женщина, казалось бы, целиком погруженная в советский быт, все-таки хочет настоящей любви. Ведь даже в очереди за мясом думается о чем-то «большом и чистом»... Где же она найдет любовь? На картошке.

Содержание

1	4
2	10
3	19
4	26
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Алексей Владимирович Тарновицкий

Станцуюем, красивая? (Один день Анны Денисовны)

1

Станция «Утро»

Кто-то слышит звонок будильника издали, будто сквозь толщу веков. Сначала тоненько-тоненько, потом по нарастающей, все ближе и ближе и, наконец, у самого уха: «Дзынн-н-нь! Проснись, а то хуже будет!» Это щадящий вариант.

Не в пример хуже, когда злобная звонючая гадина огорошивает тебя дубиной по голове, ввинчивается в мозг посередине чудесного сна про лужок с ромашками: «Бум! Трам! Вставай, поднимайся, рабочий народ! Вставай на борьбу, люд голодный! Бум!» Но самое плохое, когда как у Аньки. Анька слышит звонок заранее, когда он еще не прозвенел. Такое вот дурацкое устройство сигнальной нервной системы или как ее там кличут. Где-то Анька вычитала, а может, из радио привязались три этих слова: «сигнальная нервная система».

«Сигнальная» – это про будильник, а «нервная» – про Аньку. Вместе получается «система»: Анькины нервы улавливают сигнал будильника ровно за пять минут до звонка. Хоть ты тресни. Анька вскакивает, как ужаленная, садится рывком, оглядывается дико: где я?.. кто я?.. зачем я?.. Рядом недовольно бормочет потревоженный муж Слава:

– Да спи ты, еще не прозвенело...

Муж Слава поворачивается на другой бок. Но какой уж тут сон, если пять минуток всего и осталось? Хотя пять минут тоже деньги...

Она предусмотрительно умиряет притаившийся на тумбочке будильник, чтоб молчал, чтоб не рыпался, и тихонько укладывается снова, на краешек, на бочок. Тут главное следить за веками: эти коварные плиты, весом каждая в тонну, так и норовят прихлопнуть глаза, а заодно и саму Аньку, опрокинуть ее назад в сон, в тишь, в теплую мягкую благодать... Нет! Нет! Держись, девушка! Смерти подобна такая слабость! Не иначе как могильные они, эти плиты!

В такие моменты Анька лежит, придерживая глаза открытыми и перебирая в уме предполагаемые события наступившего дня. Так научил ее покойный папа еще в школьные годы чудесные:

– Представь, Анюша, что каждый день – это поездка по железной дороге. Сначала одна станция, потом другая... Станцуюем, красивая?

Вот с тех пор Анька и ездит с утра до вечера, танцует, как заведенная. Что у нас в маршруте на сегодня? Обычно, гражданочка машинист, ничего особенного... Ага, как же, ничего особенного... Вот в животе шевельнулось крошечное ядрышко сладкой томительной тяжести, и она же придавила его, спрятала до лучших времен: «Ш-ш-ш! Тише шурши, девушка! Не слышали бы!»

Придавить-то придавила, но сна уже ни в одном глазу. Зато наверняка блестят глаза так, что лучше никому не показывать, разве что зеркалу. Вон, даже в комнате светлее стало. Да нет, дурочка, это рассвет. Утро декабрьского ленинградского дня, виноватым псом сующее нос в щель между портьерами. Пора их, кстати, сменить, портьеры. Но эта станция не сегодня. Сегодня родительское собрание, не забыть бы сказать Славе. Сегодня дружина. Сегодня пробег по магазинам: Новый год еще никто не отменял. И так далее.

Анька садится на кровати, сует ноги в тапки, идет в ванную. Точно, глаза блестят неземным блеском. Хочется вот прямо так взять и погладить себя... Она оглядывается на дверь, распахивает халат, кладет руку на плоский, гладкий, прохладный живот. В животе возится, бьется, растет ноющая боль, слаще которой нет на земле.

– Вот, – говорит она зеркалу неслышно, одними губами. – Это все тебе. Тебе одному. Слышишь?

– А как же Слава? – отвечает зеркало.

Да, в самом деле. Нехорошо. Анька вздыхает и отправляется на маршрут. Ту-ту-у! Первый полустанок: утренний туалет и дальше по расписанию.

Она уже хлопчет на кухне, когда туда выходит Слава, спутник и муж. Институтский роман, с первого курса. Неловкий ушастый паренек из Саратова. Но то, что неловкий, не беда; Аньке никогда не нравились супермены. Супермены похожи на памятники самим себе, а кому он на фиг сдался, памятник? Памятник, он на площади стоит, как его, такого, в постель уложишь? Да даже если и уложишь – жестко с ним, с истуканом, в железных ночах Ленинграда. В железных ночах Ленинграда по городу Киров идет. Ну и пусть себе идет, а Анька остается с ушастыми. Ушастые – самые нежные, проверено.

Одна беда: слишком давно это было... Десять лет – большой срок; за ограбление банка меньше дают, и непонятно еще, что выгодней. Сейчас у Славы Соболева солидное лицо, хорошая должность, а в словах – вескость. Вот только смотрит он на Аньку уже совсем не так, как тогда, в институте. А ведь она вышла за него именно благодаря этому взгляду. Казалось бы, ну что такое взгляд? Всего-навсего два карих зрачка, устремленные на тебя и тут же дающие деру, стоит лишь тебе повернуться в их сторону. Откуда же бралось то явственно осязаемое нежное тепло, которое Анька чувствовала всем телом даже на большом расстоянии, сидя спиной к своему обожателю в противоположном конце переполненной аудитории? С физической точки зрения это явление представлялось совершенно необъяснимым и могло означать только одно: необыкновенную по силе любовь. Могла ли Анька оставить ее безответной?

Это была ее вторая любовь «за что-то». В Славу она влюбилась за взгляд, а до того, еще в школе, в боксера Витю Котова – за то, что Витя Котов избивал каждого парня, который осмеливался подойти к Аньке ближе, чем на десять метров. Во-первых, чрезмерность его реакции свидетельствовала о лестной для Аньки глубине чувства. Во-вторых, соображения гуманности требовали как-то прекратить избиения, иначе Витя точно бы сел. Все вместе взывало к проявлению взаимности, и шестнадцатилетней Аньке пришлось соответствовать требованиям момента.

К несчастью, а может быть, к счастью, Витя Котов все-таки сел, причем еще до окончания школы. Удивительно, но, как только его кулаки перестали грозить беззащитному человечеству, испарилась и Анькина любовь. Так или иначе, к моменту знакомства с ушастым Славой ее сердце было свободно, как Куба. Однажды, в переполненном вагоне метро, когда Анька, не в силах пошевелиться, едва дыша и не чуя под собой ног, висела между чьей-то квадратной спиной в черном драповом пальто, чьим-то жестким плечом в болоньевой куртке и ужасно остроугольным рюкзаком какого-то третьего идиота, она вдруг почувствовала прикосновение знакомой волны обожания.

«Это никак не может быть Слава, – благоразумно подумала она. – Прежде всего, я начисто затерта между этими тремя айсбергами и не видна никому и ни с какой стороны. Далее, волны обожания не могут распространяться в такой неблагоприятной среде, как вагон метро, где одновременно дышат, чихают, сморкаются и потеют как минимум триста человек. И, наконец, в такой давке не уцелеет даже таракан, не говоря уже о столь нежном и тонком чувстве, как любовь».

Однако интуиция утверждала иное, и, чтобы переубедить ее, благоразумию требовалось более весомые аргументы. Поэтому Анька принялась вертеть головой, стараясь выглянуть если не из-за крепостной спины, то хотя бы из-за более уступчивого на вид болоньевого плеча. Ценой нечеловеческих усилий, вывернутой шеи и нескольких синяков, оставленных рюкзаком идиота, ей удалось обозреть ближайшее пространство радиусом как минимум три метра. Славы там не было и в помине.

«Вот видишь! – торжествующе воскликнуло благоразумие. – Тебе это показалось! Значит, дело не в Славе и его ушастом взгляде, а в тебе и в твоей нездоровой фантазии. Напридумывала черт знает что. Вывод? Если ты в состоянии навоображать эти дурацкие обволакивающие волны здесь, в вагоне, где Славы нет и быть не может, то уж на лекции по «Истории КПСС», где он действительно есть, это тем более легче легкого. Нет никаких волн, и взгляда нет. Выбрось эти глупости из головы и дыши экономно, потому что если этот кретин еще немного поднажмет своим рюкзаком, то смотреть и вовсе будет не на кого, разве что в морге».

Однако волны упрямо продолжали поступать, а Анька, соответственно, продолжала сомневаться, пока, наконец, устав от войны благоразумия с интуицией, не позволила им пойти на крайне неосмотрительный мирный договор. Отчасти эту глупость можно объяснить давлением рюкзака и недостатком кислорода.

«Ты на сто процентов уверено, что Славы здесь нет? – коварно поинтересовалась интуиция».

«Двести! Триста! Тыща процентов! – хвастливо откликнулось благоразумие».

«Тогда сделаем так: если он все-таки окажется в вагоне, ты выйдешь за него замуж. Слабо?»

«Дура ты дура... Да кто тебя такую замуж возьмет?»

– Станция «Горьковская», – ответил за интуицию поездной репродуктор, и толпа, треща костями, качнулась к выходам.

– Ну уж нет, – сквозь стиснутые зубы пробормотала Анька. – За станцию «Горьковская» я сама не пойду.

Людской поток крутанул ее мастерским пируэтом и, наподдав напоследок всеми углами проклятого рюкзака, выбросил на платформу. Похоже, жива. Анька все еще недоверчиво ощупывала помятые, но вроде бы целые ребра, когда все та же интуиция заставила ее поднять голову. У противоположного пилона станции торчала в почтительном отдалении знакомая фигура ушастого Славы. Увидев, что Анька обратила на него свое царственное внимание, он немедленно ступешевался, опустил взгляд и по стеночке, по стеночке двинулся к водовороту толпы, который уже закипал у входа на эскалатор.

Ну, уж нет. Сейчас она выяснит все раз и навсегда! В три прыжка Анька настигла робкого обожателя, схватила за плечи, развернула к себе.

– Так! Говори!

– Ч-ч-что говорить? – пролепетал Слава.

Было совершенно очевидно, что он заранее готов исполнить любое, даже самое замысловатое поручение.

– Молчи! – прикрикнула на него Анька.

Обожатель недоуменно приподнял брови, сигнализируя, что будет трудновато исполнить обе команды одновременно.

– Так! – решительно повторила Анька. – Говори: где ты сейчас был? На чем приехал?

– На метро, – с чистосердечным раскаянием произнес несчастный.

– Ясно, что не на метле, – язвительно заметила Анька. – Я спрашиваю, в каком вагоне? Ты ехал в одном вагоне со мной?

– В одном, – признался Слава. – Но я случайно. Я не хотел.

– Не хотел?

Он развел руками:

– Я уже был там, когда ты вошла. На «Техноложке». Ты сама.

– Ну, ты даешь! – возмутилась Анька. – Выходит, я во всем виновата?

– Этого я не говорил, – кротко ответил он. – Ты не можешь быть виновата. Но ты вошла на «Техноложке». А я ехал с «Электросилы». То есть уже находился в вагоне.

– Ты еще, оказывается, и зануда, – констатировала Анька. – Тоже мне, электросила... Где ты был? В какой части вагона?

– В самом конце. У торцевой двери. Почему ты спрашиваешь?

– Потому что ты не мог видеть меня оттуда! Ведь не мог? Или все-таки видел? Ну, что ты молчишь, как пень?

– Не мог, – тихо отвечал ушастый Слава. – Не мог и не видел. Но я знал, что ты там. Я понимаю, о чем ты спрашиваешь.

Он поднял на нее свои карие глаза, и Аньку захлестнула горячая волна – та же самая, что и в вагоне и на лекциях. Поразительно, но он действительно точно знал, что именно означает ее странный вопрос.

– Я понимаю, – сказал он, – но ничего не могу поделать. Я не видел тебя, но... но видел.

– Не видел, но видел... – повторила Анька, едва не задохнувшись от красоты этой формулировки.

– Да. Если тебе это мешает, то я могу ездить на полчаса раньше, чтобы с гарантией...

Он говорил так тихо, что вой подлетевшего поезда заглушил окончание фразы. Толпа подхватила их – как были, сцепившихся, – и понесла к эскалатору. В последующие несколько недель они практически не расцеплялись. По неопытности Анька залетела почти сразу, так что неблагоприятный договор, заключенный в вагоне метро между интуицией и благоразумием, исполнился сам собой. Родился Павлик, свет очей, любимое чадо... и пошло-поехало, со станции на станцию. Ту-ту-у-у! Мчится поезд, мелькают по сторонам дороги леса-перелески, города-деревни, люди-лошади... Ту-ту-у-у-у!

И хотя со Славой давно уже... как бы это сказать?... Да так и скажи: кончилось! Кончилось со Славой, нет больше искры, не высекается. Да и была ли она, та искра? Пока смотрел, как на станции «Горьковской», тем сумасшедшим вагонным взглядом, который «не видел, но видел», было что-то. А когда взгляд потух... да даже и не потух, а поскуцнел, превратился в обычный, тогда и у Аньки интерес пропал. Примерно как с кулаками Вити Котова: кончились кулаки – кончилась любовь. Получается, выскочила она замуж именно за станцию «Горьковская» – в точности, как предсказал репродуктор в том злополучном вагоне.

– Кто тебя такую замуж возьмет?

– Станция «Горьковская»!

А сейчас-то уже что? Сейчас ту-ту-у-у! Павлик, кооперативная квартира, налаженная железная колея. В железных ночах Ленинграда по городу поезд идет. Поезд жизни дует по рельсам, не свернешь, не соскочишь. Да и куда соскакивать? Некуда. Разве что в темноту. Вот и стоит Анька на кухне, крутит ложечкой в кастрюльке геркулесовую кашу. Слушает, как дышит за спиной немилый муж Славик, кочегар семейного паровоза. Когда-то отводил, прятал глаза он, теперь вот ее очередь.

– Доброе утро, – говорит он.

– Доброе! – бодро откликается она, не оборачиваясь.

Ложечка равномерно прокручивает белесую массу с коричневыми вкраплениями, оставляет красивый спиральный след. Каша – важное дело, требует полной сосредоточенности. Остановишься на секунду – выйдет плохо, с комками. Слава осторожно обнимает ее сзади за плечи, отводит рукой волосы, тычется носом в шею. «Оставь! – хочется крикнуть Аньке. – Не твое!» Но поди скажи такое законному мужу. Особенно после того стыдного,

что произошло этой ночью. Хотя, это ведь опять же с законным мужем, почему же тогда стыдно? Потому что обман, вранье, гадость.

До этой ночи у них вот уже почти полгода ничего не было. То есть вообще ничего. Поразительно, как это бывает: спят люди, муж и жена, в одной постели, под одним одеялом, а между ними – стена. Натуральная стена, невидимая, но мощная, от простыни до самого потолка, и наверно, под кроватью тоже: поверху не перелезть, понизу не проползти, тараном не пробить. И вроде бы вне спальни всё тип-топ: поужинали, уложили ребенка, посмотрели кино по телику, поговорили о том о сем – нормальная семья, ровные, беспроблемные отношения. Разложили диван-кровать «Наташа», легли, книжки в руки, читают.

Первый зевок, что-то спать хочется, книжку на тумбочку, я тебе не мешаю? – нет, читай дальше... И опять вроде бы всё путем, как у людей. Но потом выключается свет, и вот оно – напряжение, странное, невесть откуда вылезшее, потрескивает в воздухе электрическим разрядом; лежат два чужих существа, сжавшись, повернувшись друг к другу спинами, ждут. Чего ждут? Его и ждут – ощущения стены. Где она, родимая? Ах, вот же она: торчит как ни в чем не бывало посреди кровати, верх теряется в облаках, низ в ядро земли упирается, не пройти, не проехать. Ну, слава богу, теперь все на месте, можно расслабиться, а вот и сон накатил.

И надо же такому случиться: этой ночью, откуда ни возьмись – рука! Его, Славина, рука на ее, Анькином плече. Первая мысль – удивление: как же он сюда пролез-то, через такую преграду? А потом вдруг вспоминаешь: да мы ведь под одним одеялом, долго ли руку протянуть... И сразу растерянность: что делать? А рук уже две, и тело, верное инерции прежнего опыта, откликается, поворачивается, совершает нужные движения. А в голове бьется: что ты делаешь?! Зачем?! Но он ведь свой, вместе едете. Как же оттолкнешь своего, как выбросишь его с подножки в черную, мерцающую темь? К тому же вон как старается, хочет, чтоб хорошо, и этак и так. «Ту-ту-у!» – заливается поезд, ритмично стучит по рельсам надоедливая долбежка колес. Когда же наконец доедем? Ну, вот и станция, можно спать.

– Как ты? – спрашивает Слава, снова тыкаясь носом в Анькину шею.

– Нормально, – говорит она, приподнимает ложечку и внимательно смотрит на стекающую жижу. – Славик! Ты мне мешаешь, подгорит!

– У тебя не подгорит, – льстиво возражает он, пытаясь заглянуть ей в лицо.

Нет, не получается: Анька слегка поворачивает голову, и плотная занавеска волос отгораживает ее от настойчивого, ищущего Славинаго взгляда. Волосы у Аньки дай бог каждой – длинные, до пояса, темные и блестящие, как на картинке с импортного шампуня. Попробуй пробейся сквозь такую паранджу.

– Ну, Слава! – она мягко выворачивается из-под его руки. – Как там Павлик? Встает?

– Встает, встает... – разочарованно вздыхает муж. – Уже в ванной.

Анька выключает газ под кастрюлькой и лезет в шкафчик за тарелками. Разочарован так разочарован, ничего страшного. Даже полезно, чтобы не вообразил ничего лишнего. На языке Славы случившееся ночью называется «налаживанием отношений». Так вот: не будет никаких отношений. Будет стена еще крепче прежней, чтоб рука не пролезла. Уж теперь-то не получится застигнуть ее врасплох. Анька воинственно мечет на кухонный столик тарелки, ложки, вилки, ножи...

– Ножи-то зачем? – недоуменно спрашивает Слава.

– Ах, да! – спохватывается она. – Не знаю, зачем я их вытащила. Да и вилок тоже не надо.

Глаза их на секунду встречаются – по чистому недоразумению, не иначе, и всё из-за этих дурацких ножей. В глазах у Славы вопрос: «У нас ведь все в порядке, правда?» Зато Анькин взгляд прыгает в сторону, как застигнутая врасплох кошка – на стену, на пол, в

окно... Ах, вот же ножи – хорошо, что есть на чем сосредоточиться. Можно сказать, живем на ножах. На ножах и на Павлике. Где же он, свет очей, ультимативное связующее звено?

– Павел! – кричит Анька строгим голосом. – Что ты там копаешься? Завтрак на столе!

Вздохмаченный заспанный мальчик молча входит в кухню, залезает на стул, угрюмо смотрит в тарелку.

– Опять каша...

– Точно, – с нажимом подтверждает Анька. – Опять каша. Опять утро. Опять школа.

Опять всё. Жизнь это что?

– Поездка... – обреченно говорит Павлик и громко зевает.

– Поездка по железной дороге, – кивает мать. – От станции к станции. Ту-ту-у! Что у нас сегодня? Арифметика, русский...

– И собрание. Родительское. Светлана Константиновна сказала, что если вы опять не придете...

– Господи, чуть не забыла! Славик!

На этот раз важность предмета обязывает ее посмотреть на мужа, что Анька и делает, по возможности, впрочем, ограничивая время прямого зрительного контакта. В Славиных глазах торчит все тот же немой вопрос: «У нас ведь всё в порядке, правда?» Вот ведь зануда... хватит, проехали!

– Славик, сегодня ты идешь на родительское собрание, – объявляет она тоном, не терпящим возражений.

Павликино восторженное «Ура, папа!» и недоуменное Славина «Почему я?!» сливаются для Аньки в одно восклицание, неприятное сразу в нескольких смыслах.

– Потому что ты! – раздраженно произносит она и теперь уже не отводит взгляда.

Теперь уже на вопрос, всё ли в порядке, можно ответить твердо и отрицательно. Теперь уже есть повод.

– Потому что я иду зарабатывать отгулы в дружину. Потому что иначе нам не вывезти ребенка на юг. А на юг ему, как тебе хорошо известно, жизненно необходимо. Потому что...

– Да ладно, ладно, – машет руками Слава. – Разве я против? Надо, значит надо. Что ты сразу...

Он огорченно крутит головой. Теперь ему окончательно ясно, что далеко не всё в порядке. А может, даже и всё не в порядке. А ведь еще ночью казалось, что отношения налажены...

Анька сгружает посуду в раковину и бежит одеваться. Она выходит из дома раньше всех. За нею с пятнадцатиминутным интервалом – Слава. Последним, с ключом на шее, как теленок с колокольчиком, отправляется в школу маленький Павлик. Его уход контролирует соседка по лестничной площадке Розалия Давыдовна, одинокая пенсионерка. Она же встречает мальчика после занятий, кормит обедом и осуществляет общий присмотр. Поскольку интеллигентная Розалия Давыдовна отказывается брать деньги за банальное сидение с ребенком, предполагается, что параллельно она обучает Павлика игре на фортепьяно. Поэтому Соболевы платят ей как будто за уроки музыки, хотя Павлику медведь на ухо наступил. Такой вот дурацкий выверт. А что поделаешь? Куда денешь ребенка до позднего вечера?

– Я ушла!

Хлопает дверь.

2

Перегон «Путь к коммунизму»

Хлопает дверь. В принципе, можно вызвать лифт, но не хочется ждать, а пуще всего – лезть в его исцарапанное, исписанное скабрзностями, воняющее мочой нутро. Да и вообще страшно девушке в лифте одной. Лучше уж топотком по лестнице. Третий этаж, это мы мигом, как в юности. А впрочем, почему «как»? Выскочив из квартиры, Анька ощущает себя не старше, чем в ранние институтские годы. Рука в варежке славно скользит по пластиковым перилам, ноги прыгают через две ступеньки. Вжик! – крутой поворот! – сумка описывает плавную дугу перед отвисшей от удивления челюстью мусоропровода – и снова вжик! Вжик! Какие ваши годы, Анна Денисовна!

На выходе из парадной – кодовый замок, пребывающий в перманентно сломанном состоянии. Периодически посланцы домкома ходят по квартирам, собирают деньги на ремонт. А зачем? Ремонтируй не ремонтируй – все равно сломают. Ну и ладно, подумаешь. Сколько времени жизни мы проводим на лестнице? Минуту в день? Невелика беда, в сутках минут много, одну-единственную можно и перетерпеть.

Улица встречает Аньку мрачнее некуда. Декабрьский Ленинград это вам не какой-то загаженный подъезд, его не проигнорируешь. Восьмой час утра, а в мире тьма-тьмушая. Фонари стоят, нагнувшись, как будто вот-вот блеванут. И есть от чего: внизу чавкает мерзкая слякоть неопределенного цвета, какой можно встретить только здесь, в декабрьском Питере. Но слякоть еще ладно, куда хуже то, что под нею. Там притаилась черная ноздреватая от соли ледяная корка, именуемая в просторечии наледью. Наледь – это от слова «лед», но разве похожи на лед эти отвратительные струпя адской питерской зимы? Разве лед может быть черным? Нормальные ледовые наросты зовутся гололедом, а не наледью. Гололед – что за чудное слово! Во-первых, «голо» – это уже вызывает хорошие ассоциации у понимающего человека. Во-вторых, «лёд» звучит практически как «лёт»: гололед, самолет, полет. Полет – это красиво. Гололёт. Полет в голом виде, как красавица Маргарита у Булгакова.

А наледь – тьфу! Наледь похожа на «нелюдь» и правильно похожа. С людьми подобная гадость не уживается, сколько ее не соли. Как Анька ни бережется, но каждую зиму падает как минимум раза четыре, и хорошо если дело обходится лишь ушибами. А безнадежно испачканная грязью одежда? А рассыпанная, разбросанная по тротуару и мостовой добыча – драгоценные мандарины для Павлика, конфеты к празднику, консервы из набора? А вдребезги разбитые банки с болгарскими перцами, венгерскими огурчиками и румынскими помидорами? Нелюдь, как есть нелюдь!

В этот сезон ситуация обостряется тем, что у Аньки новая дубленка. Красивая, легкая, теплая, с восхитительной опушкой понизу. Дубленка стоила бешеные деньги; вспоминая об этом, Анька всякий раз испытывает угрызения совести ввиду зияющей прорехи, которую эта покупка образовала в семейном бюджете. Как дразнит ее главный остряк отдела Роберт-Робертино: «Свой-то зад прикрыла, а семья? Семья в чем ходить будет?» Вот ведь зараза, знает, как ужалить. Но много ли было в том Анькиной вины? Прежняя псевдокаракулевая шуба, в которой она честно отходила без малого шесть зим, не просто давно уже дышала на ладан, но и порвалась после попадания в очередную ловушку наледи-нелюди. Если бы еще по шву, то можно было бы починить, а так...

В любом случае, новая дубленка никоим образом не рифмуется с угрозой падения в грязь. Честно говоря, она вообще плохо рифмуется с Анькиным образом жизни. Женщина в такой вещи не должна вываливаться из парадника с неработающим кодовым замком. Женщина в такой вещи должна, плавно покачивая бедрами, выходить из ярко освещенных врат

роскошного отеля и, скользнув приветливым взглядом по толпе поклонников, садиться в поджидающий ее лимузин... или «кадиллак»? А черт его знает, во что они там садятся. Анька садится... – нет, не садится, а скорее берет штурмом желтый «Икарус» девяносто восьмого маршрута. Даже если дубленка чудом минует встречу с наледью, переживет ли она автобусную давку?

Не убьет ли столь ценную и деликатную вещь Анькин ежедневный «путь к коммунизму»? Так с легкой руки все того же Роберта в отделе называют дорогу на службу. Робертино на полном серьезе утверждает, что, приходя в отдел, он сразу оказывается в обществе победившего коммунизма.

– Вдумайтесь, чуваки, – говорит он в своей ленивой манере, растягивая слова и аристократическим жестом поднимая к глазам ухоженные ногти. – Лично я получаю тут полное удовлетворение всех своих культурных и прочих потребностей. Здесь можно вволю потрепаться о балете, кино и литературе, сыграть роскошный блиц в шахматы, забить фигурного козла на четыре конца и даже немного поработать – если, конечно, захочется. Последнее я упоминаю чисто гипотетически, поскольку пока что такого странного желания у меня не возникало. Что касается чисто телесных утех, то они с избытком покрываются нашими захватывающе интересными отделскими пьянками, которые устраиваются как минимум раз в месяц по причине славных советских и личных праздников. В перерывах между ними меня всегда могут выручить близлежащие гастрономы, куда с похвальной регулярностью завозят питательный во всех смыслах портвейн. Наши дамы необыкновенно прекрасны, наши помещения теплы и приятны, а в курилке всегда есть у кого стрельнуть сигарету. Вдобавок ко всем этим удовольствиям здесь еще и платят! Нет-нет, дорогие мои чуваки и чувихи, по всем признакам речь тут идет о коммунизме, причем самом что ни есть натуральном, согласно заветам основоположников. Единственное, что меня слегка угнетает, так это путь к коммунизму, то есть дорога на работу. Два трамвая или автобус и метро, это вам не шутки. Но кто сказал, что путь к коммунизму должен быть легким?

Анька поспешает не торопясь, тщательно выбирая, куда шагнуть. До остановки идти ровно девять с половиной минут. По такой слякоти этого хватает, чтобы промочить ноги. После покупки роскошной дубленки заикаться о новых сапогах было бы верхом наглости, поэтому Аньке остается лишь поджимать пальцы и морщиться. Чертова соль никак не помогает против наледи, зато в два счета разъедает обувь. Разок прошла по улице – голенища в белых разводах, никакая чистка не поможет. Подруга Ирочка мажет свои итальянские сапоги дефицитным кремом для лица: мне, говорит, сапоги дороже морды. Можно понять.

Вот и остановка. Народ стоит слитно, кучно, черной грозовой тучей – не подступись. Ждут, косятся на соседей, держа наготове острые боевые локти. Каждый тут на взводе, как сжатая оружейная пружина. Каждый готов к отпору, к ссоре, к драке. Бр-р... Анька встает в сторонке, переминается с ноги на ногу, поджимая в сапогах озябшие пальцы подмокших уже ног. Болеть нельзя, слишком много дел. Она не ввинчивается в толпу – это опасно.

Во-первых, на краю тротуара самая опасная наледь. Если вынесет туда, на черный поребрик, да еще и подтолкнут не вовремя, да еще и нога соскользнет, то так и выедешь на спине, как на саночках, прямиком под колеса подъехавшего автобуса. А помирать еще хуже, чем болеть, потому что Анька любит жить. Во-вторых – дубленка. Порвать дубленку в некотором смысле еще хуже смерти, потому что Анька любит жить счастливо, а гибель совсем еще новой дубленки – бесспорное несчастье.

Анькина стратегия проста и красива и опирается не на силу и остроту локтей, а исключительно на веру в добро. Люди по природе добры, особенно мужики. С тетками-то Аньке бывает трудно. Тетки часто оказываются злобными и безжалостными. С такими фиг договоришься, лучше сразу убежать, прикрыв спину стальным щитом. А мужик, он мужик и есть, ребенок по сути своей. Это как с Павликом, светом очей. Иногда заупрямится так, что

трактором не сдвинешь. Слава в такие моменты начинает кричать, грозить... – разве криком чего добьешься? Всего-то и нужно напомнить мальчишке, что он мужчина. Ты, мол, сильный, ты, мол, защитник, смотри, как мама тобою гордится. И все – парень как шелковый. Действует безотказно.

Так и с другими мужиками, взрослыми павликами. Главное, глазом правильно стрелнуть – весело, без претензии, без жалобы, но в то же время и с некоторым оттенком чисто женской беззащитности, немо, но явственно взывающей к проявлению надежной мужественной силы.

«Не могли бы вы... ох, я прямо не знаю, что мне делать... ах, не стоит, это, наверно, так трудно... ой, я вам так благодарна, так благодарна...»

И можно не сомневаться – в девяносто девяти случаях из ста мужик приосанится, выкатит грудь колесом, подтянет животик и бросится на помощь, забыв на поле брани свои боевые локти. А тот единственный, который не бросится, наверняка и не мужик вовсе, а какая-нибудь переодетая тетка.

Теперь, возвращаясь к непростой проблеме проникновения в автобус, зададимся вопросом: кто есть шофер одного транспортного средства? Правильно, мужик. А потому, заведя издали грязно-желтую, угрожающе кивающую тушу двойного «Икаруса», Анька осторожно подходит к проезжей части, но не на самой остановке, где кипит дикое столпотворение, а чуть поодаль, в двух-трех метрах за ее пределами. Подходит и стоит, такая маленькая хрупкая фигурка, крошечный островок женской беззащитности на берегу бушующего моря ругани, кулаков и потных оскаленных лиц, натуральный луч света в темном царстве. А с недавних пор не просто луч света, но еще и в такой обалденной дубленке! И как-то само собой получается, что шофер проскакивает остановку ровно на эти два-три метра и распахивает переднюю дверь точнехонько перед очаровательной Анькиной улыбкой.

Тут уже не зевай, иначе затопчут. Анька хватается за поручень и ловко ввинчивается в автобусное нутро. Впереди не так тесно; она осторожно пробирается к стратегически выгодной позиции возле двух кресел, стоящих спина к спине, как два друга-пирата во время абордажной схватки. Если получается прислониться животом к боковинам этой надежной пары и обнять обеими руками торчащую там же вертикальную стойку, то можно считать, что жизнь удалась. Получилось! Анька прижимает лоб к стойке и блаженно закрывает глаза. Вот так, Робертино! Путь к коммунизму далеко не всегда труден. Дай бог, чтобы и дальше день был таким же удачным.

Автобус, играя хребтиной, дует по Светлановскому проспекту. Он похож на зверя – то припадет на передние лапы, то рванется вперед, вытянувшись в длинном и плавном прыжке. А она, Анька, всадница. Коленки привычно отзываются на движения скакуна: вверх – вниз, вверх – вниз... Сначала это терпимо, но в районе Черной речки, где застрелили Пушкина, подступает усталость. Ноги начинают тихонько гудеть и жаловаться.

«Цыц! – мысленно командует им Анька. – А то будет, как с Пушкиным. Загнанных лошадей пристреливают, помните?»

Ноги вспоминают про американское кино с Джейн Фонда в главной роли, а также про отечественного Пушкина и, испытав культурный шок, временно замолкают.

«Ничего-ничего... – успокаивает их Анька. – Назад будет намного легче».

Назад и в самом деле легче легкого, потому что садишься на кольцо. Автобус пуст и просторен, как тот лимузин... или «кадиллак»? Чувствуешь себя настоящей Джейн Фонда – не той несчастной, замученной капитализмом девушкой, которую застреливают как какого-нибудь Пушкина, а той, которая, качая бедрами, дефилирует по красному ковру. Если уж на то пошло, автобус намного больше, чем «кадиллак», такого простора даже Джейн Фонда не снилось. Входишь – и на какое-то время это все твое. Садись, куда хочешь, – хоть вперед,

хоть назад, хоть посередке. Правда, время это относительно коротко, но разве в жизни бывает что-нибудь вечное? Все кончается, и лимузин тоже не исключение.

Вот, наконец, и Аптекарский... «Икарус» проскакивает мост через Карповку, сворачивает направо к чахлому скверу и, в последний раз припав на передние лапы, устало оседает всем своим натруженным телом. Конечная. Вздохнув гидравликой, раскрываются двери, толпа выплескивается наружу. Выходит и Анька. Обычно, соскочив с подножки, она отходит в сторонку перевести дух и расправить затекшие ноги, но сегодня не до того. Сегодня надо торопиться: на Большом проспекте отмечаются в очереди на стенку. Не ту стенку, к которой ставят замученную капиталистами Джейн Фонда, а мебельную, югославскую, по имени «Юлия». Если повезет, то она будет прекрасно сочетаться с их новой диван-кроватью «Наташа». Как пошутила подруга Машка, отмечающаяся в той же очереди:

– Будет твой Славик лежать на Наташе, смотреть на Юлию, а думать о тебе.

Анька тогда только фыркнула в ответ. В этой триаде ее не устраивала только последняя составляющая. Пусть себе лежит на ком хочет, смотрит на кого угодно, но зачем думать-то о ней, об Аньке? Будь Машка не Машкой, а кем-нибудь понадежней, можно было бы сказать это и вслух. Но Машка из тех подруг, которые зовутся опасными: скажешь что-то по неосторожности, а она и передаст. И вроде бы не по злобе передаст, будто бы случайно, только вот ударит это тебя в самую сердцевиночку, под дых, да так, что белый свет с копейку покажется.

Обогнув серое здание Дворца культуры и выбравшись из потока пассажиров метро, который бьет здесь из-под земли подобно грязевому гейзеру, Анька выходит на Большой. Здесь, на Петроградской, та же черная наледь, но поверх нее вместо слякоти странная коричневая каша – то ли снег с соленым песком, то ли соль с песчаным снегом. В этой массе вязнешь по щиколотку, месишь ее сапогами в беломраморных разводах, давишь, как виноделы давят свой виноград. Но вина тут нет и быть не может; коричневая смесь не тает, не испаряется, не проваливается в щели канализационных люков – она так и будет хватать людей за ноги, пока снегоуборочные машины не сгребут ее по весне своими загребущими клешнями.

У мебельного магазина два-три десятка людей топчутся вокруг дородной женщины в темном пальто с цигейковым воротником. Она держит в руках тетрадку, где отмечаются очередники. Режим пока щадящий – всего два раза в сутки, с восьми до полдевятого утра и вечером, с шести до семи. А вот за день до начала продажи система сменится на вовсе бесчеловечную: каждые четыре часа, и ночью тоже.

– Соболева? – переспрашивает женщина и перелистывает тетрадку на букву «С». – Рискуете, дамочка. Еще шесть минут, и опоздали бы.

– Печать, пусть печать покажет... – мрачно гудит рядом чей-то бас.

Вообще говоря, для того, чтобы отметить, хватает одной женщины с тетрадкой, но есть достаточно много недоверчивых очередников, которым кровь из носу нужно удостовериться, нет ли где мухлежа. На их хмурых, красных от непогоды лицах крупными буквами значится: «Знаем мы вас, сволочей...»

– Да я ее помню, – говорит женщина, ставя галочку напротив Анькиной фамилии. – Дубленка, вязаная шапочка, глаза блестят.

– Пусть покажет, – упрямо повторяет высокий худой дядька в кроличьей ушанке. – Дубленку можно и передать, а глаза у любого с полстакана заблестят.

– Ладно, покажите ему...

Анька засучивает рукав, чтобы продемонстрировать след печати на правом запястье. Так здесь метят клиентов, чтоб не присылали вместо себя всевозможных друзей и родственников. Чтобы не досталась ценная стенка нытикам и слабакам. Женщина смотрит и озабоченно качает головой:

– Надо бы обновить. Часто моетесь, дамочка.

– Есть такой грех, – признает Анька, улыбаясь персонально кроличьей шапке. – Вы уж мне обновите, если нетрудно.

Дядька приосанивается. Мужик есть мужик.

– А чего ж не обновить? – солидно басит он. – Матвеевна, где у тебя печать?

– Где всегда, в правом кармане... – отвечает Матвеевна и поворачивается к следующему запыхавшемуся клиенту. – Как фамилия? Рискуете, гражданин...

Кроличья шапка выуживает из кармана женщины печать с таинственной надписью «ЖГЗПУ-7» и, дыхнув недавним воспоминанием о портвейне, со всей возможной деликатностью прижимает ее к Анькиному запястью.

– Вот. Теперь порядок. Завтра утром обновим.

– Спасибо! Ой, – спохватывается Анька, – а какой у меня теперь номер?

– Соболева? – Матвеевна снова перелистывает тетрадку. – На сегодняшнее утро – номер восемьдесят шестой.

Анька удовлетворенно хмыкает. Еще вчера вечером был девяносто первый. Слабые отпадают. Женщина сворачивает тетрадку, поднимает к глазам руку, смотрит на часы.

– Ну что... Еще две минуты и закрываем.

– Верно, – гудит на разные голоса могучая кучка добровольных контролеров. – Кто не успел, тот опоздал. Нечего. Закрывай сейчас.

– Подождите, подождите!

Господи, да это же Машка! Спешит-бежит с другой стороны проспекта, едва уворачиваясь от автомобилей.

– Нет, не успеет... или успеет?... нет, не успеет... – азартно приговаривает кто-то за Анькиной спиной. – Сорок секунд осталось...

– А те, кого машиной сбilo, тех тоже вычеркивают? – спрашивает женский голос.

– Если машиной, то нет, – басит кроличья шапка. – Что ж мы, звери?

– Митина! – кричит Машка, вскакивая на тротуар. – Митина я!

– Да хоть Колина... – с досадой отрезает Матвеевна. – Кто ж так делает, дамочка? Еще бы пять секунд и кончено, поминай, как звали...

Под ропот разочарованной свиты она ставит в Машкиной графе спасительную галочку.

– Ну, ты даешь, мать, – говорит Анька подруге. – Я думала, ты уже давно отметилась.

Та, прислонившись к стене, только машет рукой – дай, мол, отдышаться. Анька берет ее под локоть:

– Пошли, а то в контору опоздаем.

Они медленно бредут по тротуару. Ничего страшного, успеют, есть еще время до девяти. До этого сугубо гражданского конструкторского бюро Анька работала на жутко режимном предприятии под названием «Аметист», куда попала по распределению после института. Вот уж куда нельзя было опаздывать! На проходной там зимой и летом стояли одни и те же существа неопределенного пола в черных бушлатах и с каменными масками вместо лиц. Анькин непосредственный начальник Ленка Громов уверял, что они не то инопланетяне, не то прямые потомки Франкенштейна. В руках эти франкенштейны сжимали настоящие автоматы Калашникова с примкнутыми штыками. Уговорить их на что-либо человеческое не было никакой возможности, да никто и не пробовал.

Чтобы попасть на территорию «Аметиста», требовалось пройти через турникет, расположенный между двумя такими охранниками, как меж Сциллой и Харибдой. Всякий раз, когда Анька приближалась к этому месту, сердце ее сжималось. Направление взгляда франкенштейнов казалось еще более неопределенным, чем их происхождение: сквозь узкие щелочки глаз не видно было зрачков. Пожалуй, их выдавали лишь штыки, синхронно поворачивающиеся к объекту внимания подобно подсолнухам, которые всегда следуют за солн-